Константин

ПАУСТОВСКИЙ

Классика для школьников



ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

Рекомендовано лучшими учителями

Теплый хлеб (сборник)

Константин Георгиевич Паустовский

Аннотация
Константин Паустовский. Теплый хлеб (сборник)
Повести
  Созвездие Гончих псов
  Мещерская сторона
    Обыкновенная земля
    Первое знакомство
    Старинная карта
    Несколько слов о приметах
    Возвращение к карте
    Мшары
    Лесные реки и каналы
    Леса
    Луга
    Небольшое отступление от темы
    Еще о лугах
    Старики
    Родина талантов
    Мой дом
    Бескорыстие
  Разливы рек

Рассказы
- Ручьи, где плещется форель
- Старый повар
- Телеграмма
- Корзина с еловыми шишками
- Наедине с осенью

Сказки
- Теплый хлеб
- Похождения жука-носорога
- Стальное колечко
- Дремучий медведь
- Растрепанный воробей
- Заботливый цветок

Аннотация

К.Г. Паустовский – писатель, творчество которого одинаково интересно и понятно и взрослым, и детям. Его любовь к красоте человеческой души, русской природы, искусства завораживает и приближает ребёнка к правильному пониманию мира.

Для среднего школьного возраста.

Константин Паустовский
Теплый хлеб (сборник)

© Паустовский К.Г., наследники, 2016
© Сазонов А.П., наследники, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016

Повести

Созвездие Гончих псов

Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно.

Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог сам раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо.

Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой: «Ну, конечно, опять ветер! Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи».

Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то, значит, будет дуть очень долго.

Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего восемь человек. До ближайшего городка было тридцать километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро — астрономы — отличались молчаливостью. Они разговаривали редко, — все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали

расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями.

Старуха Тереза — тоже молчаливая и суровая — готовила астрономам скромный обед. С каждым месяцем обед в одни и те же часы, в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров.

— Какая крикливая книга! — говорил он и морщился. — В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут... Нет сил разобраться в этом вопле.

Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных канатах, поддерживавших мачту; на ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук — веселое хлопанье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки

Мэро начиналась мигрень.

В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное — очень яркое, огромное, занимавшее полнеба.

— Мне кажется, — говорил Мэро садовнику, — что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот, да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом.

Садовник соглашался со всем, — не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро.

Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лабораторий. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория.

Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля, — раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту.

Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстэд — неуклюжий норвежец — и никогда не возвращал. Сначала астрономы вор-

чали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстэда, что происходит внизу, в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстэд неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех.

В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа, — он изучал в то время созвездие Гончих Псов, — впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдаленных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам, — его и так считали чудаком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение было уже так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа.

Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы.

Он видел все то же: снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни, — но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин.

— Матвей, — окликнул Мэро садовника, — вы

ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы.

— Слишком мало снега для обвалов, — ответил садовник. — Надо прислушаться.

Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавшей на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже покрытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом тяжелый удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад и стих.

— Это не обвал, — пробормотал садовник.

— Что же тогда?

— Это дальнобойные, — ответил неуверенно садовник. — Война бродит кругом, но сюда она не подымется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать.

Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстэда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики и ему приходится самому грузить продукты и потому опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания.

Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл об-

серваторию и спустился к жилому дому.

Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно, — так она пела уже много лет.

— Друзья, — сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф. — Я слышу отдаленную канонаду.

Астрономы подняли головы от тарелок.

— Ньюстэд, — продолжал Мэро очень громко и возбужденно, и астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику. — Ньюстэд, вы должны подробно рассказать нам, что происходит.

Ньюстэд не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радиоприемнику. Все с удивлением наблюдали за ним.

Ньюстэд наклонился над рычагами. Красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы.

Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить.

— Что вы думаете об этом? — спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен.

Ньюстэд лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками.

Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание.

— Каждый из нас, — сказал он, усмехаясь, — чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля. Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас — и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им незачем подыматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности.

— Не шутите так, Дюфур, — сказал Ньюстэд. — Война длится уже пять месяцев.

— Глупости, глупости, — пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, словно лишенный возраста: ему можно было дать, не ошибившись, и сорок и

шестьдесят лет. — Меня интересует другое: как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы и покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеса. Всю жизнь я вожусь со звездами, это научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? А ради него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно! Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо!

Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской.

— Вот, — сказал он с торжеством, — еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около двухсот небольших сотрясений земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался.

Астрономы наклонились над бумажной полоской. Карандаш вычертил на ней ломаную линию, отражавшую колебания земной коры.

Ньюстэд провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами, — Ньюстэд злился.

— Каждый излом, — сказал он, — означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийства.

Дюфур хотел возразить, но не успел, — ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушило вниз, в каменные пропасти. Все притихли.

Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же как раскрытие всех других загадок вселенной, роднит человека с землей. Мэро был стар, добр и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах.

Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью, и только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась, он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити

и хлопушки, мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках, — он мог изучать елку, но, несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту.

Такое же чувство он испытывал от познания вселенной.

— Все существует для человека, — говорил Мэро. — Если исчезнут люди, то, боюсь, мне, астроному, будет ненужно даже звездное небо.

Эти мысли Мэро не решался высказывать часто, — они не встречали сочувствия. Сегодняшний разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстэд был, пожалуй, лучше их всех.

Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба за многие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интерес-

ных догадок.

Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз.

Мэро, сидя у телескопа, что-то сердито и подолгу бормотал. Ньюстэд два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого, — по астрономической традиции, рассматривание в телескоп земли считалось занятием для дураков.

Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе, — облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся.

Библиотекарь Бодэн начал отбирать газеты у Ньюстэда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль.

Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Мэро вошел Ньюстэд. Это было нарушением пра-

вил, — никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений, Мэро оглянулся и встал.

Ньюстэд остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали.

Мэро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим.

— Я пришел, — сказал Ньюстэд так громко, будто он говорил с глухим, — помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным.

«Он пьян, — подумал Мэро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории. — О каком ударе он говорит?»

— Удар будет внезапным, — сердито повторил Ньюстэд. — Не упрямьтесь. Выйдите и посмотрите.

Ньюстэд закрыл купол, взял Мэро за локоть и вывел на железный балкон. Мэро шел безропотно, — в словах Ньюстэда он почувствовал тревогу и угрозу.

— Вот. — Ньюстэд кивнул на горы. — Какое прекрасное зрелище!

Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом. Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах

росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды.

— Ураган, — сказал Ньюстэд и засмеялся. — Через десять минут он будет здесь. Дайте только ветру прорваться через горы.

— Почему же так тихо? — спросил Мэро.

— Ураганы всегда подходят в тишине.

Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им надтреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымом.

— Надвигается, — прошептал Ньюстэд.

Мэро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор.

— Там человек. — Мэро показал на горы.

Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу.

— Где? — спросил Ньюстэд.

Мэро схватил его за плечо.

— Там, там! — кричал он и показывал на вершины, где Ньюстэд не видел уже ничего, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелья дымными потоками. — Я слышу аэроплан.

— Вы… — крикнул Ньюстэд, но удар ветра обо-

рвал его хриплый крик.

Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Мэро от перил балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстэд схватил Мэро за руку и потащил вниз, — норвежец был уже весь белый от снега.

Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватались за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши.

Фонари на столбах не качались на проволочных канатах, а были вытянуты наискось к земле, — ветер не давал им качаться, он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести.

Ньюстэд втащил Мэро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу.

— Вы ошиблись, — сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег, — аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок.

Мэро не возражал.

Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер.

Астрономы разошлись очень поздно. Мэро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушиваясь к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет, не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь?»

Мэро лежал свернувшись и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве: «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики, должно быть, тоже», — подумал Мэро.

Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был совсем рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил. Тихий свет сочился

от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки.

— Не надо засыпать, — пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться, — впереди торчали отвесные скалы, — и только спиной, одной беспомощной спиной он ощущал ураган, догонявший его, как гончая зайца.

Ветер стучал ставнями. Болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал.

Ему приснился странный сон. Будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы.

— Мы поедем туда и обратно, — говорит старик, и латы его скрежещут и скрипят в тесной машине, — и вы увидите всё. Постарайтесь сдержать слезы.

И вот они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневой и сожженной небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых

колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово:

— Испания!

Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнущий гвоздикой.

Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где за полотняными занавесями сверкают в сумраке картины великих мастеров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда.

В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятни-

ке надпись: «Мигель Сервантес».

— Так это вы — Сервантес? — кричит Мэро старику.

Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает:

— Да, я когда-то жил в этом городе.

Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, теперь уже лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами, мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!», мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора.

Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком.

— Вы кто? — кричит офицер.

Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся.

— Собаки! — кричит он. — Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я — Мигель Сервантес, я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек!

Старик широко расставляет руки, он хочет задержать солдат.

— Огонь! — кричит офицер и взвизгивает от злости.

Солдаты стреляют, и Мэро слышит, как пули бьют по заржавленным латам старика, и старик падает лицом в пыль и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебень родной дороги.

— Испания! — говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю. — Испания, мать моя, страна моих детей!

Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко.

Мэро проснулся. Как будто кто-то стучал в дверь. Он прислушался. Ветер еще шумел, но не так сильно, как вечером. Ураган уставал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее.

— Кто там? — спросил Мэро почти шепотом.

— Я, сударь, — ответил из-за двери садовник.

— Что случилось?

— В ущелье, за ручьем, стреляют, — сказал садовник. — Может быть, вы встанете, и мы по-

слушаем. Я думаю, что случилась беда.

Мэро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон, и ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло.

— Должно быть, это хлопают ставни, Матвей, — сказал он шепотом, боясь разбудить Эрве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне?

Садовник ничего не ответил. Они вышли. Снег уже не падал. Ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, и можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие вылинявшие рыбки.

Садовник провел Мэро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно, — темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно — пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег.

— Это здесь, — сказал садовник и показал за ограду.

Мэро заглянул вниз, но ничего не увидел.

— Мое зрение ослабло, — сказал он печально. — Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня.

— Страшновато заглядывать, — ответил садовник. — Давайте лучше немного послушаем.

Они замолчали. И тогда Мэро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья.

Мэро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела.

Мэро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Мэро открыл нишу в стене. Руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить в разных концах дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случае серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории.

Колокола гремели оглушительно.

В комнатах зажегся свет, захлопали двери, — и через несколько минут в лаборатории собрались

взволнованные астрономы.

Один Ньюстэд был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул.

— Что случилось? — спросил он очень громко.

Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньюстэда.

— В ущелье, — ответил Мэро, — кто-то погибает. Он просит помощи.

— Откуда вы это взяли? — рассердился Дюфур. — Он кричит?

— Он кричит и стреляет через равные промежутки времени.

Наступило молчание.

— Кто пойдет со мной? — спросил неожиданно Ньюстэд. — Если он разбился, надо идти вчетвером. Иначе мы его не вытащим.

— Я бы пошел с вами, — ответил садовник.

— Этого мало.

— Тогда возьмите меня, — тихо попросил Бодэн.

— Все равно мало. Надо идти вчетвером, — повторил Ньюстэд.

Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора.

— Ну что же, — сказал Эрве, — я очень выносливый, хотя и выгляжу стариком.

— Это не имеет значения, — ответил Ньюстэд. — Идемте.

Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно. Ньюстэд первый пролез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Бодэн и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам.

Мэро и Дюфур стояли около ограды. Взошло солнце, снег начал таять, с деревьев падали крупные капли воды.

Ньюстэд и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней, потом Ньюстэд закричал:

— Эге-гей, эге-гей! — И в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел.

Ньюстэд крикнул:

— Стреляйте вверх, а не в скалы, черт вас возьми! Может быть рикошет.

Чей-то незнакомый голос несколько раз позвал:

— Сюда, сюда! Перейдите ручей, сюда!

Голоса были слышны отчетливо, будто из со-

седней комнаты.

— Рикошет, — повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился. — Какое неприятное слово — рикошет.

— Думаю, что мы услышим еще худшие слова, — холодно сказал Дюфур.

Из тумана доносились голоса, но гораздо глуше, чем раньше.

— Дайте нож разрезать веревки, он сильно запутался, — послышался голос Ньюстэда. — Все равно, давайте садовый, только скорей.

— Что там? — крикнул Мэро, но никто не ответил.

Была слышна возня, потом слабый крик, и Бодэн сказал сердито:

— Да не спотыкайтесь вы, ради бога!

Разговоры надолго стихли, и было слышно только хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей.

— Пусть отдохнет, — сказал садовник где-то совсем рядом.

— Ничего, идите, — ответил Бодэн.

Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону.

— Держите крепче, Матвей, — попросил Эрве.

— Ничего, — ответил глухо садовник. — У меня руки липкие от крови, я не выпущу.

Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстэда были измазаны кровью.

Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Бодэн, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил перевязки. Ему помогал Ньюстэд.

В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи от растаявшего снега.

Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшейся наискось по ковру, и ждали Ньюстэда и Бодэна. Те долго не шли.

У Мэро дрожали руки.

— Надо бы истопить камин, Тереза, — сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть молилась, и не расслышала просьбы Мэро.

Первым вошел Ньюстэд. Он подошел к камину

и начал греть руки, деланно засмеялся и набил трубку.

— Ну вот, — сказал он, — война наконец добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся.

— Что с ним? — спросил Мэро.

— Он, должно быть, умрет, — ответил Ньюстэд. — У него переломано все, что может быть переломано у человека. Прыжки с парашютом в горах — отчаянное дело. Он летел из Франции в Мадрид.

— Военный? — спросил Дюфур.

— Нет, он поэт.

— Я не настроен шутить, — сказал ледяным голосом Дюфур.

— А я вам говорю, что это так, — рассердился Ньюстэд. — Ураган перевел машину в штопор, он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно.

— Главное никому не понятно, — пробормотал Дюфур. — Вы что-то упомянули насчет войны.

Вошел Бодэн. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами.

— Нужен настоящий врач, — сказал он растерянно. — Я слишком мало знаю, чтобы спасти этого человека.

Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом. Поедут шофер и Ньюстэд. Бодэн и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве.

— Настоящий ученый никогда не поступил бы так опрометчиво, как Мэро и Ньюстэд, — сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстэд уехал. — Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет.

Эрве молчал.

— Война, — сказал он наконец и вздохнул. — Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать.

— А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле, — сказал Дюфур.

Ньюстэд уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода. Небо подымалось все выше, делалось бледнее, из пустынной долины потянуло теплом.

Шофер резко затормозил и показал Ньюстэду на красные скалы. У их подножия валялась куча

железа и дерева.

— Это его машина, — сказал шофер.

Ньюстэд вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им от своих брюк бурые пятна крови.

— Едемте, — сказал он шоферу. — Как бы наши старики его не уморили.

Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня.

Ньюстэд был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом.

Городок был пуст и тесен. Толпа худых крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстэд плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь.

Одна из женщин держала за руку девочку в черном платке, таком же, как у всех женщин и у

старухи, сторожившей коз. Девочка исподлобья смотрела на Ньюстэда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком.

— Чего она хочет? — спросил Ньюстэд шофера.

— Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки фашисты недавно убили отца. Под Уэской. Она говорит — в горах не так опасно, они туда не придут.

— Кто «они»?

Шофер пожал плечами:

— Понятно.

— Мы не можем ее взять, — сказал Ньюстэд. — Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек.

Шофер молчал.

— Кто с ней будет возиться? — повторил Ньюстэд.

— Мое дело — руль, а ваше дело — решать все остальное.

— Ах, так?!

Ньюстэд открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные седеющие волосы.

Шофер дал ход. Машина рванулась вверх по улице, к аптеке. Ньюстэд обернулся. Женщины махали вслед черными платками и были похожи

на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера глазами, полными слез.

— Скажите ей, чтобы она не боялась, — сказал шоферу Ньюстэд. — Когда все пройдет, мы ее привезем обратно.

Шофер кивнул головой.

Аптекарь спал. Ньюстэд попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше.

Ньюстэд не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал о случившемся и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньюстэда и сдержал зевоту.

— У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и шесть ампул морфия. Это все, что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Бодэн год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии.

— Почему вы думаете, что он республиканец?

— Кто же будет лететь из Франции ночью? Вы нашли самолет?

— Нет, — ответил Ньюстэд. Он не был располо-

жен к болтовне.

— Дело не в человеке, а в самолете, — проворчал аптекарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, долго копался и наконец вынес небольшой пакет.

Ньюстэд попрощался. Аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым.

— А где сейчас дерутся? — спросил Ньюстэд.

— Всюду, — ответил аптекарь и усмехнулся.

Обратно ехали медленно: подъем делался все круче. Девочка сидела сгорбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньюстэд не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал.

Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину.

Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом.

Ньюстэд впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди живые, шумные и упорные, где они дерутся за

очень понятные вещи! Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того?

— Что с того? — вслух повторил Ньюстэд.

Девочка не оглянулась. Она сидела все так же неподвижно.

«Большое горе», — подумал Ньюстэд, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился.

Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур — ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его и иссушила, как мумию.

— Один Мэро, — пробормотал Ньюстэд, — но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра.

За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину.

— Теперь не стоит торопиться, — сказал он. — Посмотрите на мачту.

Ньюстэд всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка Ньюстэду. Сын морского капитана, любителя

астрономии, он хорошо знал морские нравы, и приспущенный флаг — знак траура — всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая.

Ньюстэд понял, что опоздал.

Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота.

Ньюстэд взял девочку за руку и повел ее к Терезе.

— Как тебя зовут? — спросил он ее по дороге.

— Си, — шепотом ответила девочка.

— Сесиль? — переспросил Ньюстэд.

— Си, — повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы.

Больше Ньюстэд ничего не спрашивал.

Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, будто только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на корточки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым, мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстэд ушел, недоумевая, — он так и не понял, в чем заключена эта чертовская тайна общения с детьми.

Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом.

В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату.

Человек лежал, вытянувшись, под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам.

Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало. Шторы были спущены.

— Это зажгла Тереза, — сказал тихо садовник. — Женщины знают, как обряжать умерших.

Ньюстэд посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполголоса звал.

— Вот и смерть погостила у нас, сударь, — сказал Матвей. — Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом.

— Где Мэро? — спросил Ньюстэд.

— Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках.

Ньюстэд медлил идти к Мэро. Вошел Эрве.

— Ньюстэд, — сказал он и криво улыбнулся, — вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти.

— Не только, — ответил Ньюстэд. — Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи.

— Неужели мы еще кому-нибудь нужны? — спросил Эрве с искренним удивлением.

Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками — хотел сдержать слезы.

Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку, здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть, они давно уже умерли, как умер этот человек. «Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть», — говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права.

Человек умер во время дежурства Мэро. Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Мэро.

— Отец, — сказал он, и Мэро вздрогнул от этого забытого слова, — возьмите в сумке письмо и бу-

маги… Прочтите… Отправьте… Если приедет, вы расскажете… Я думаю только о ней, бесполезно думать о другом… Совсем бесполезно…

Мэро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. В бреду он пел. Это было очень страшно, и Мэро позвал Бодэна.

Когда Бодэн пришел, человек был уже мертв.

Письмо и бумаги Мэро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца, — множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки.

Человека похоронили в сумерки. Все стояли молча, обнажив головы, пока садовник и Ньюстэд засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Бодэн написал:

Виктор Фришар, поэт, француз. Разбился во время перелета из Франции в Мадрид. Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством, прибавится еще одно имя неизвестного нам, но благородного человека!

Астрономы и сотрудники французской обсерватории Сиерра дель Кампо (Пиренеи).

После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньюстэд созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были

утомлены и молчали, — прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни.

— Профессор Мэро, — сказал Ньюстэд и встал, этим он подчеркнул важность своих слов, — передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг, — Ньюстэд положил на них тяжелую руку, — заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже пять месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война.

— Я знал, что вы филантроп, — заметил Дюфур.

— Это делает честь вашей проницательности, — спокойно ответил Ньюстэд. — Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили, — французский поэт. Поэты — братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии.

— Понятно, — пробормотал Дюфур. — Читайте письмо!

— Если бы вам это было понятно, — ответил

Ньюстэд, — то вы бы не занимались сейчас вычислением орбиты планеты за номером тысяча двести двенадцать. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на земле.

— Спасибо! — воскликнул Дюфур и деланно засмеялся. — И после этого вы считаете себя ученым?

— Да, — грубо ответил Ньюстэд. — Вы — Дюфур, я — Ньюстэд, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружие для помощи испанской Народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие — винтовки, патроны и пулеметы.

— Очень хорошо, — сказал Эрве, — но мы-то ими не воспользуемся.

— Письмо адресовано в Бриэк, женщине, — сказал Ньюстэд, как будто не слыша всех замечаний. — Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо.

«Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриэке, когда я уезжал, помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих

сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом.

Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фосгеном, начала схватку со всем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать на край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только раз и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна, — во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести.

Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на ней, люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу, люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза, люблю каждый

твой след на сыром песке и ночную тишину, потому что тогда я слышу твое дыхание, — и вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом.

Прощай! Ты расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его, — ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя».

Ньюстэд окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался.

— Хорошо, что вы прочли письмо, — тихо сказал Мэро. — Хорошо, я знаю... Но позвольте мне уйти, я не могу дольше оставаться.

Мэро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту.

Мэро заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колючая тяжесть в груди причиняла боль. Мэро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Мэро уж ничего не видел за окном, — звезды мутными пятнами расползались по стеклу.

Ему было жаль умершего, жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве, всех, кто

так бесприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире.

Поздно вечером Мэро вошел в комнату Ньюстэда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги.

— Ньюстэд, — сказал Мэро, — я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Бриэк. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию.

— Что ж, — ответил Ньюстэд, — ведь у вас нет ни сына, ни дочери... Это понятно.

Мэро с благодарностью посмотрел на Ньюстэда. Ньюстэд обнял его за плечи и сказал:

— Мы никогда не должны забывать друг друга.

— Конечно, — ответил Мэро.

У себя в комнате Мэро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик.

Созвездие Гончих Псов играло далеким светом за стеклами, и Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне.

Утром ни Ньюстэд, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом, хриплым от волнения, она рассказала, что городок занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсер-

ватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид, и утром отряд выступает в обсерваторию.

— Они думают, что он вез секретные бумаги, и хотят его расстрелять, — сказала женщина. — Так хвастались солдаты.

— Единственная секретная бумага погибшего у меня, — сказал Мэро. — Я ее никому не отдам.

Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика.

Снова был созван военный совет.

— Что же делать? — спросил Бодэн.

— Не выдавать его, даже мертвого, — ответил Ньюстэд.

Дюфур не удержался.

— Придется защищать от них звезды, — сказал он, усмехаясь. — Их много? — спросил он женщину.

— Тридцать человек.

— Все равно, — сказал Ньюстэд. — Начнем действовать.

— Конечно, — согласился Дюфур. — Для астрономов не составит труда разбить эту воинскую часть. Тем более что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже Эрве может участвовать в схватке.

Через час шофер и Ньюстэд привезли на машине двадцать винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюстэд запретил пробу, — звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени.

Ньюстэд распоряжался невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям, никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории, — очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности.

План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстэда, должно было привести к бесспорной победе.

Невдалеке от обсерватории, на скале, установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать поворот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстэд. Садовник замаскировал пулемет и скалу

сухими дубовыми ветками.

Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За пятнадцать километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы.

Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов.

Бодэн, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстэду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы.

Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя.

Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей.

— Может быть, они повернули обратно? — спросил Бодэн, и в голосе его послышалась тревога.

— Эй, вы, — сказал Мэро, — старый наполео-

новский гвардеец! Потерпите еще час-другой, не огорчайтесь!

Мэро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Мэро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Это Дюфур давал знать Ньюстэду, что на дороге замечен отряд.

— Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно, — сказал Бодэн.

Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур.

— Двадцать пять! — прокричал он возбужденно. — Двадцать пять королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий, как огонь.

— Почему вы думаете, что это командир? — спросил Мэро.

— С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике.

— Ну, в таком случае мы не спорим, — сказал, улыбаясь, Эрве.

— Они будут на повороте через двадцать минут, — сказал Дюфур.

— Если не ошибаюсь, — пробормотал Бодэн, — тот способ обстрела, который предложил нам

Ньюстэд, носит название флангового огня?

— Совершенно верно, — подтвердил Дюфур. — Они попадут в засаду. Но вы подумали, что нам делать, если они все же прорвутся через ограду?

— Они не прорвутся, — сказал Мэро, — или мы умрем.

— Надо предвидеть всё, — возразил Эрве. — Мы можем отступить на наблюдательные вышки. Их три, и все они построены из гранита. Посмотрите: лесенка, балкончик, железная дверь. Два узких окна заменят бойницы. Других окон нет.

— Замечательные боевые сооружения! — воскликнул Бодэн. — Как мы раньше не видели этого?

— Это будет лучше всего, — сказал Мэро. — По крайней мере, мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал.

Все засмеялись. Никто не верил в возможность настоящего боя.

— Но в общем, — сказал Дюфур, — пора идти за Терезой.

Он позвал Терезу. Ее появление прекратило шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго перевязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую

новую и сказала:

— Девчонкой отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят.

— Ну, друзья, — сказал Бодэн, — давайте приготовимся.

Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять.

Дюфур посмотрел на часы.

— Очень скоро, — сказал он шепотом.

Все, кроме Мэро, заняли свои места. Мэро решил подойти к ограде в последнюю минуту, — ему было трудно стоять.

— Как будто видна пыль, — таинственно сказал Бодэн.

— Посмотрите, Тереза.

— Недавно стаял снег, — ответила так же тихо Тереза. — Откуда же быть пыли?

Мэро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в Бриэк. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен.

— А! — тихо вскрикнул Дюфур.

Мэро торопливо подошел к своему выступу. Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли вразброд.

— Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать, — предупредила Тереза.

— Вы настоящая маркитантка, Тереза, — ответил Дюфур. — Но почему же Ньюстэд так долго молчит?

— Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать.

Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту торопливо забил и залаял пулемет Ньюстэда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу; он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей, падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым пароходным котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге десять упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько веток со старой сосны.

— Друзья, — крикнул Бодэн, — не зевайте!

Солдаты, лежавшие за парапетом, не были

видны Ньюстэду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Бодэн. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. Эрве старался попасть в парапет: от удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь.

Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, с кудахтаньем взлетел на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю — он был разорван пулей.

Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже, и это очень хорошо, — все приборы останутся целы.

Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза.

— Все по пулеметчику! — приказал Бодэн. — У них один пулемет, больше нет. Как они успели его поставить!

Мэро стрелял, почти не сознавая, что проис-

ходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно защемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь.

Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика — очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, точно зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем.

Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстэда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, с камня на камень, некоторые бросали винтовки.

Мэро видел, как Ньюстэд и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстэд махал рукой.

— Поздравляю вас, старики, — сказал Дюфур. — Они отступают.

— Значит, это конец? — спросил Эрве.

— Да, мы, кажется, ловко отделались, — ответил Бодэн.

Пулемет стих. Раздался последний одинокий

выстрел. Это еще стреляла Тереза. Эрве потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом.

Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напитан запахом листьев и корней.

Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени, и Мэро улыбнулся. Он знал: у него есть дочь где-то там, в Бриэке, есть родная душа в этом мире, есть друзья — астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах.

Тереза улыбнулась Мэро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики — брат и сестра. Было слышно, как Ньюстэд пел на дороге какую-то норвежскую песенку.

В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Мэро и Ньюстэд тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания.

Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья.

1936

Мещерская сторона
Обыкновенная земля

В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-

«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все гео-

графические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.

Первое знакомство

Впервые я попал в Мещерский край с севера, из Владимира.

За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходи-

ли покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещерских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, прейскуран-

ты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти, — сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели, — надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот, — сказал дед горестно, — за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озеро. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно существование наше, — повторял дед. — Летошний год гоняли меня в музею, сего-

дняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось

мое знакомство с Мещерой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

Старинная карта

С большим трудом я достал карту Мещерского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек, — кричит местный житель, — других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистен-

ку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением.

Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным

цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

Несколько слов о приметах

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по

радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это все очень несложные приметы. Но есть

приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

Возвращение к карте

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещерского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещерского края внизу, в самом

дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещерские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещерского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

Мшары

К востоку от Боровых озер лежат громадные Мещерские болота — «мшары», или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, — бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле

было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещерском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

— Это его тропа на водопой, — сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами

стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идет очень быстро. Да

и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело, — и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ — тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и

все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро, — ответил он. — Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек,

рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой Мещерские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника

не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины, — говорили они нараспев. — Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

Лесные реки и каналы

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской),

о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещеры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещерском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить Мещерские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещеру была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захо-

тел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещере множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда пла-

вунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещеры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещеры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо

родится только картошка. Богатство Мещеры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

Леса

Мещера — остаток лесного океана. Мещерские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещерском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру, — на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные

токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещере разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет

сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду, — ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой.

Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое

место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещере почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой — чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже

запах морской воды.

Но большинство озер все же — черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер — чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о Мещерских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

Луга

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, — травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем — белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и деся-

ти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом,

когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив… И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе

звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, — все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы

в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Небольшое отступление от темы

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старо-

модные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, трях-

нул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

Еще о лугах

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрыв-

шуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая

клубника.

Старики

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожжи» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке,

французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дитё, — сказал Степан. — Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед. — Телку в лугах искала-искала да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к

деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои, — сказал дед, закуривая, — бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед Матерью Божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас почитай никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех, — пробормотал смущенно дед. — Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

— Житьишко наше было плохое — сказал он, сокрушаясь. — Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке, — дед постучал корявым пальцем по лбу. — Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорят — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу, схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

Родина талантов

На краю Мещерских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана

в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы

были когда-то знаменитыми богомазами. Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с

глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе — принесла продавать сметану.

— Ежели тебе еще сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой, — вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. — Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, все равно тощает, — говорит Кузьма. — Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке, — осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня, — учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по

лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы, — и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещеру. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, — писал Вася. — Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому что уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь Вася Зотов».

Мой дом

Маленький дом, где я живу в Мещере, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по

усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом

и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только

зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Бескорыстие

Можно еще много написать о Мещерском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая зем-

ля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

1939

Разливы рек

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Весна выдалась непохожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И может быть,

на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «Номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом — рукой подать — поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

— Когда пройдет это кружение сердца? — спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул. — Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

— Тут какие-то офицеры картежные стоят, — доложил он Лермонтову. — В этих номерах. Хрипуны, охальники — не дай Бог! Про вас спра-

шивали.

— Будет врать! Откуда они меня знают?

— Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

— Отстань!

— А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

— Не трогай мундир! — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: — Станешь ты меня слушать или нет?

— Как придется, — уклончиво ответил слуга. — Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.

— Знаешь что, — спокойно сказал Лермонтов, — ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив, — должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим

карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

— Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку.

— Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло.

— В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» — повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич, — сказал он укоризненно из окна.

— Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия… В Москве, на вечере у Погодина,

Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гулянье. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова — чуть сутуловатого офицера — и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе — тогда, пожалуй, вы сможете — и то в малой мере — судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову: Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство — это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, про-

чел отрывок из «Мцыри».

— Еще что-нибудь, — приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла…

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковыряя носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

— Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных…

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

— «Ночи Украйны в мерцании звезд незакат-

ных...» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу.

Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова — высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах.

Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Иванова променяла его на

проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил: городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Не важно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И наконец он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

— Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забав-

ный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова.

В них было все смятение ее любви, утаенной печали.

С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас — сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда: может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утеши-

тельное слово — «наугад».

И вот — сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», каждую щепку на горбатой мостовой.

— Я думаю совсем не о том, не о том! — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. — Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную

шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

— Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы…

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о

России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений.

Он говорил с ней, как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Они весь день не выходили у него из головы.

— Михаил Юрьевич! — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова. — Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала та сыва зозуля равным-рано на зори». Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

— Я понимаю, — ответил Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку.

— Михаил Юрьевич! — сказала с отчаянием Щербатова. — Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

— Все кончится, — спокойно ответил Лер-

монтов. — Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

— Да, не решусь, — призналась Щербатова и опустила голову.

— Вы не виноваты, — сказал, успокаивая ее, Лермонтов. — Мне грустно оттого, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

— Ну, вот, — Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки. — Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза — поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающая сердце нежность.

…Слепой солдат зашел в ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на «квартиру» — солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Изо рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь, — урча, давясь и встряхивая ушами.

— Ишь ты, — сказал хозяин избы, — мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

— Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит…

— То-то вас порют через каждого третьего, — заметил хозяин. — Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

— А я и не помню! — бесшабашно ответил солдат. — Ей-богу, забыл. Одно помню: стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

— Ну, бреши, утешайся, — согласился хозяин избы. — Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк. И девочка у тебя засохла, насквозь светится.

— Она вроде немая, — ответил солдат. — Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! — крикнул он. — Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

— Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу. — Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! Меня сам командир за

бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти — часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал — ни-ни, не пикнет! Только забренчит орденами и побегит к царю докладать.

— Да ну! — притворно удивился хозяин избы. — Так-таки и побегит?

— Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит — молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навытяжку, придерживая на груди почернелый Георгиевский крест.

— Все герои, а пока что в дерьме преем, — вздохнул хозяин. — Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

— Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой, лицо его начало чернеть, и он запел:

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

— Дедушка, — испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата. — Ты не пой: закашляешься.

— Полк, слуша-а-ай! — закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

— Чего ж ты сидишь? — сказал он наконец девочке. — Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.

— Дедушка! — закричала она. — Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

— Тихо! — прохрипел солдат. — Слушай мою команду. Офицер дал мне полтинник. Душа-офицер! Доложи ему: помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

— Дедка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

— Темно мне помирать, — сказал он. — Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдатская — портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи… хоронить надо солдата по правилам службы.

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

— Вот тоже, — сказал он наконец, — навязались постояльцы на мой загривок. Погодь!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

— Мошна-то глубока, да пуста, — зло бормотал

он. — Голь перекатная! А вино пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой.

Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом.

Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь

городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

— Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя

сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение:

Коперник весь свой век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился, —
Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

— Почему ты одна? — спросил он. — Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

— Где солдат? — повторил Лермонтов.

— На Слободке. Лежит в хате.

— Что с ним?

— А он помер. Как почернел, так и свалился под

лавку. А меня к вам послал.

— Зачем?

— А я не знаю, — шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. — Велел добежать до вас, а я не дослушала.

— Испугалась?

— Ага! — еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце.

— Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

— Я не люблю благодеяний, — сказал он, чуть сердясь. — Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь.

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся

жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

— Извините, мне надобно отлучиться, — сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался.

Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! — сказала она про себя. — Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?!»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день…

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры.

Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и сказал:

— Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам, — сказал он добродушно и слегка поклонился. — Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

— Насколько я знаю, — спокойно ответил Лермонтов, — вы играете только втемную. Ну что ж,

сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз прищурился от злобы.

— Играю на тысячу, — сказал Лермонтов. — Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

— Идет! — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан. — Остановка за малым — за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

— Мысли ваши держите в кармане рейтуз, — резко ответил Лермонтов.

— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули… — сказал, краснея, банкомет и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.

— Да так… ничего, — пробормотал банкомет.

Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.

Лермонтов тоже вынул деньги.

— Здесь тысяча, — сказал он. — Иду на все!

— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.

Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов.

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

— Ваша тысяча! — сказал банкомет с наигранным равнодушием.

— Посмотрим, как вы отыграетесь, — сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

— Индюк! — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками. — Тюфяк! — повторил ротмистр. — Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так… ничего…» — передразнил он банкомета.

— От такого и тремя откупишься, — пробормотал конопатый пехотный капитан. — По всем повадкам видно — головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он. — Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Он не сдержался, сказал княжне

дерзость. Но тогда этот гнев был понятен.

Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.

— Подай мне мокрое полотенце, — хрипло сказал Лермонтов. — Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

— Пить бы вам надо поменьше, — сказал он наставительно.

— Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

— Кабы вы приказали мне ее караулить… — обиженно начал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

— Где?! — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

— Княгиня сюда заходили и увели ее к себе, — скороговоркой пробормотал слуга. — Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.

— Ступай к себе, — сказал он, сдерживаясь. — И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.

— Ступа-а-ай! — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду, — подумал он. — А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой, — думал Лермонтов. — Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Но вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать, а тоска растет,

как лавина, вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь…

У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать, вернее, ему казалось, что помнил, — ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

— Опять ты здесь, — сказал устало Лермонтов. — Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову,

горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

— Радость моя! — сказала она. — Серденько мое! Что же делать! Что делать!

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог — ему не дойти!

— Мария, — сказал он, и голос его дрогнул, — если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал — тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь

своих слез.

— Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? — шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

— Пойдем сейчас ко мне, — шептала Щербатова. — Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

— Хорошо, — сказал он. — Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

— Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

Мне грустно, потому что я тебя люблю,

И знаю: молодость цветущую твою

Не пощадит молвы коварное гоненье.

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он

послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась.

Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в нестругаком гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, точно боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью.

Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом.

Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дьячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание.

Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал

ей на пальцы с тонкой, согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге и вдруг удивилась: зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь.

Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно.

За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя для солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой.

«Может быть, это и моя последняя весна», — подумал Лермонтов, но тотчас начал торопливо думать о другом — о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром и через несколько часов он расстанется с ней.

— Кутузовский кавалер! — вздыхал позади хозяин. — Царствие ему небесное, вечный спокой!

Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой

подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним. Петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно!

Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами.

Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело.

Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне.

Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых, — коротких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени.

Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку

Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все: за прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом.

* * *

Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову. Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили.

После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы заслоняли воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый.

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался

и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева.

Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все, — подумала с тоской Щербатова, — и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас — ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и тогда только заметила, что девочка плачет.

— О ком ты плачешь? — спросила Щербатова порывисто. — О ком?

Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой.

Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик-украинец в накинутой на голову свитке торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

— В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой, пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но

черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в станице два дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами.

Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.

В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасович зазвал Лермонтова с собой на свадьбу.

Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него.

На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой.

Девушки тихо пели:

Ой, в Ерусалиме
Рано зазвонили.
Молода дивчина
Сына спородыла.

Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасович подыгрывал девушкам на скрипке.

В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чабрецом.

Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся

с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу. Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы обойти его, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу.

— Ты со мной не шути, приятель, — сказал, сдерживая гнев, Лермонтов. — Дай мне пройти.

— Куда? — тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку.

Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было.

— Долго ты у меня не находишься, — сказал со смешком пьяный.

Лермонтов с силой оттолкнул его и тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой.

Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина.

Лермонтов в ярости бросился назад. Но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом.

Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо. Оно чуть болело.

Бабка лежала на печке.

— Вот клятый иуда! — сказала она. — Злодий, чтобы добра ему не было! Не поранил он вас?

— Нет. А откуда ты знаешь, что это в меня стреляли?

— Да так… ниоткуда, — ответила бабка. — Свечку лучше задуйте да отойдите от окна. А то он упорный.

— Кто это «он»?

— А кто ж его знает, — неохотно ответила бабка. — Он всего третий год как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за два карбованца — так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал. Свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу, в скрытность.

Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой.

Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а, наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бросить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни.

Сейчас он не имеет права играть собой. Он отвечал за все, еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно,

никому не сознавался в этом. Разве он не написал слова, что «звезда с звездою говорит»? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета.

— Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр, — сказал вслух Лермонтов.

Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упала на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце билось медленно. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы, — рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым.

Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате,

затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой.

Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку!

— Нет, не успеть! — сказал он и покачал головой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество?

Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака:

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти;
настанет час кровавый,

И я паду...

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль. Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле, — одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.

Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас, вся в летнем прозрачном солнце, склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей:

— Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются.

Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года — сто одиннадцать лет назад.

1952

Рассказы

Ручьи, где плещется форель

Судьба одного наполеоновского маршала, — не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов, — заслуживает того, чтобы рассказать ее вам, сетующим на скудость человеческих чувств.

Маршал этот был еще молод. Легкая седина и шрам на щеке придавали особую привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов.

Солдаты любили маршала: он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потертый мундир, покрытый пылью.

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла и запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни.

Однажды зимой конный корпус маршала,

стоявший в Ломбардии, получил приказ немедленно выступить в Германию и присоединиться к «большой армии».

На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом, белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни только звезды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности.

Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчиненных. Он устал, ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напомнило ему не то детство, не то недавний сон, которого, может быть, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непривычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последний отдых перед стремительным топотом атаки.

Огонь вызывает у людей оцепенение. Маршал, не спуская глаз с поленьев, пылавших в камине, не заметил, как в зал вошел пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомце был синий заштопанный фрак. Незнакомец подошел к камину и начал греть озябшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил:

— Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь так неслышно?

— Я музыкант Баумвейс, — ответил незнакомец. — Я вошел осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума.

Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал:

— Садитесь к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами.

— Благодарю вас, — ответил музыкант, — но, если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа, как меня преследует одна музыкальная тема. Мне надо ее проиграть, а наверху, в моей комнате, нет рояля.

— Хорошо… — ответил маршал, — хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков.

Баумвейс подсел к роялю и заиграл едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и легкие снега, поет зима, поют все ветви буков, тяжелые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте.

— Мне уже мерещится всякая чертовщина, — сказал маршал. — Вы, должно быть, великолепный музыкант?

— Нет, — ответил Баумвейс и перестал играть, — я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и именитых людей.

Около крыльца послышался скрип полозьев. Заржали лошади.

— Ну вот, — Баумвейс встал, — за мной приехали. Позвольте попрощаться с вами.

— Куда вы? — спросил маршал.

— В горах, в двух лье отсюда, живет лесничий, — ответил Баумвейс. — В его доме гостит сейчас наша прелестная певица Мария Черни. Она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черни исполнилось двадцать три года, и она устраивает небольшой праздник. А какой праздник может обойтись без старого тапера Баумвейса?!

Маршал поднялся с кресла.

— Сударь, — сказал он, — мой корпус выступает отсюда завтра утром. Не будет ли неучтиво с моей стороны, если я присоединюсь к вам и проведу эту ночь в доме лесничего?

— Как вам будет угодно, — ответил Баумвейс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он

удивлен словами маршала.

— Но, — сказал маршал, — никому ни слова об этом. Я выйду через черное крыльцо и сяду в сани около колодца.

— Как вам будет угодно, — повторил Баумвейс, снова поклонился и вышел.

Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспечное опьянение охватило его с необычайной силой.

— В зиму! — сказал он самому себе. — К черту, в лес, в ночные горы! Прекрасно!

Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани — Баумвейс уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового у околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, вскинул ружье к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь, бубенцы, и покачал головой:

— Какая ночь! Эх, только бы один глоток горячего вина!

Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Черный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья. Он не замерз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мерзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

— Форель, — сказал возница. — Веселая рыба!

Маршал улыбнулся. Опьянение не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну в горах, к старому дому с высокой крышей.

Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость.

Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумвейсом вошел, сбросив плащ, в низкую комнату, освещенную свечами, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин.

Одна из женщин встала. Маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черни.

— Простите меня, — сказал маршал и слегка покраснел. — Простите за непрошеное вторжение. Но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня.

Старый лесничий поклонился маршалу, а Мария Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали.

Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и спросила:

— Это было очень больно?

— Да, — ответил, смешавшись, маршал, — это был крепкий сабельный удар.

Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними, смущенная и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шепот недоумения пробежал среди гостей.

Не знаю, нужно ли вам, читатель, описывать наружность Марии Черни? Если вы, как и я, были ее современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой женщины, о ее легкой походке, капризном, но пленительном нраве. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны ее любви.

Что было дальше? Маршал провел в доме лесничего два дня. Не будем говорить о любви, потому

что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает? Может быть, это обнаженная рука на жестком эполете, пальцы, гладящие холодные волосы, заштопанный фрак Баумвейса. Это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои, столы, створки дверей той комнаты, что была свидетелем ее любви. И, может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами, в дыму факелов, при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают с седел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора.

Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами.

Все вокруг осталось по-прежнему. Все так же

шумели во время ветра леса и ручей кружил в маленьких водоворотах темную листву. Все так же отдавалось в горах эхо топора и в городке болтали женщины, собираясь около колодца.

Но почему-то эти леса, и медленно падающий снег, и блеск форелей в ручье заставляли Баумвейса вынимать из заднего кармана фрака хотя и старый, но белоснежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Марии Черни и о том, что временами жизнь делается похожей на музыку.

Но, шептал Баумвейс, несмотря на сердечную боль, он рад, что был участником этого случая и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого бедного тапера.

1939

Старый повар

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин

«сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать? — испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная… — прошептала Мария, накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:

— Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голо-

сом передала просьбу отца.

— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе к себе. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — ее звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун

маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.

— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.

— Аминь! — прошептал старик.

— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце

и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.

— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

— Слушайте, — сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами.

— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился

с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в черное окно.

— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синей, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу все это! — крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.

— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария, — попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь:

— Я видел все так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать… имя. Ваше имя!

— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад,

засыпанный цветами мокрого снега.

1940

Телеграмма

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме, — подарок Крамского,

эскиз к его «Неизвестной».

Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала.

А в селе — называлось оно Заборье — не было никого, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, — девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

— На что это мне? — хрипло спрашивала Ма-

нюшка и шмыгала носом. — Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая, — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. — Ты продай.

— Сдам в утиль, — решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая, — и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну, что ж, — говорил он, не дожидавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша, — шептала Катерина Петровна. — Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя

на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела

старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

— Должно быть, почудилось, — сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохлась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, — писала Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, — смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не

тот, — да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, — что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, — решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, — сейчас она нрави-

лась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, и на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь, — буркнул Тимофеев. — А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод! — сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. — Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует

теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя.

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев. — Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя, — попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите! — угрюмо приказал скульптор. — Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тоненькая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!»

— Ну что? — спросил Тимофеев. — Серьезный дядя, да?

— Замечательно! — с трудом ответила Настя. — Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно, — повторил он. — Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул — значит, конец!.. Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. — Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это все о Гоголе! — сказал он и вдруг успокоился. — Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что ж, будем драться вместе, — сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало

этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала. — Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя, — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. — Зря я толь-

ко трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мертвый свет! — ворчал он. — Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев. — Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании

к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя. — Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

— Что? — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. — Ничего неприятного?

— Нет, — ответила Настя. — Это так… От одной знакомой…

— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто

бы это мог быть? — подумала она. — Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, — вспомнила Настя недавнее письмо. — Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово — «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что? — думала она, ничего не видя. — Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

— Что с вами, гражданка? — недовольно спросила она.

— Ничего, — ответила Настя. — У меня мама…

Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

— Куда вы? — крикнула кассирша. — Сразу надо было сказать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

…Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк,

повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:

— Бабка? А бабка? Ты живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша? — бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна! — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. — Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет — значит, и ей будет способнее ехать.

— Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. — Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот! — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти, — сказала Манюшка хрипло. — Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала.

Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша! — тихо сказала Катерина Петровна. — Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождалась, — пробормотал Тихон. — Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, — сказал он сердито Манюшке, — за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От

них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие желтые от лишаев вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

— Учителька идет, учителька! — зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать — вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей

трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:

— Одинокая, должно быть, была эта старушка?

— И-и, мила-ая, — тотчас запела Матрена, — почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи — предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную, темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

1946

Корзина с еловыми шишками

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от

птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо

больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки — ковры, портьеры и мягкую мебель, — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем

могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше

месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя,

Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные

туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса,

что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картины, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времени Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала

Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, — сказал он, — это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни, — кричала в таких случаях тетушка Магда, — заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концер-

ты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке

сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил

в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если б можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю… — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком

сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

1953

Наедине с осенью

Осень в этом году стояла — вся напролет — сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (ее зовут в народе «мга») затягивала плесы на Оке и отдаленные леса.

«Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь нее проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных озимей.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.

Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки, летели к теплой стране с элегическим именем Таврида.

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофер остановил машину, вышел и

тоже начал смотреть на журавлей.

— Счастливо, друзья! — крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор — должно быть, чтобы не заглушать затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и все смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. И все слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землей.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении.

Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?

Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий вином.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением ее таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его еще не закрыли на зиму. Оттуда доносились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон, и я услышал знакомые томительные слова:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

«Вот, — подумал я, — еще один шедевр, печальный и старинный».

Должно быть, Баратынский, когда писал эти стихи, не думал, что они останутся навеки в памяти людей.

Кто он, Баратынский, измученный жестокой судьбой? Волшебник? Чудотворец? Колдун? От-

куда пришли к нему эти слова, наполненные горечью минувшего счастья, былой нежности, всегда прекрасной в своем отдалении?

В стихах Баратынского заключен один из верных признаков шедевра — они остаются жить в нас надолго, почти навсегда. И мы сами обогащаем их, как бы додумываем вслед за поэтом, дописываем то, что не досказал он.

Новые мысли, образы, чувства теснятся в голове. Каждая строка стихов разгорается, подобно тому как с каждым днем сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой. Подобно тому как расцветает вокруг небывалый сентябрь.

Очевидно, свойство истинного шедевра — делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем.

Я сказал, что считаю шедевром лермонтовское «Завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова — шедевры. И «Выхожу один я на дорогу...», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою...», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять.

Кроме стихотворных шедевров, Лермонтов оставил нам и прозаические — такие, как «Та-

мань». Они наполнены, как и стихи, жаром его души. Он сетовал, что безнадежно растратил этот жар в великой пустыне своего одиночества.

Так он думал. Но время показало, что он не бросил на ветер ни одной крупицы этого жара. Многие поколения будут любить каждую строчку этого бесстрашного и в бою и в поэзии, некрасивого и насмешливого офицера. Наша любовь к нему — как возврат нежности.

Со стороны дома отдыха все лились знакомые слова.

Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!

Вскоре пение стихло, и на реку возвратилась тишина. Только слабо гудел за поворотом водоструйный катер и, как всегда к любой перемене погоды — все равно к дождю или к солнцу, — орали за рекой во все горло беспокойные петухи. «Звездочеты ночей», как их называл Заболоцкий. Заболоцкий жил здесь незадолго до смерти и часто приходил на Оку к парому. Там весь день шастал и толкался речной народ. Там можно было узнать все новости и наслушаться каких

угодно историй.

— Прямо «Жизнь на Миссисипи»! — говорил Заболоцкий. — Как у Марка Твена. Стоит посидеть на берегу часа два — и уже можно писать книгу.

У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе: «Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница». Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно побуждающая к творчеству: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится «приближенье первых дальних громов — первых слов на родном языке».

Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновения вызывают жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на самой грани бессмертия. Они легко могут переступить эту грань и остаться навек в нашей памяти — сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца.

В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с Тютчевым — по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию.

Но вернемся к Лермонтову и к «Завещанию».

Недавно я читал воспоминания о Бунине. О том, как жадно он следил в конце своей жизни за работой советских писателей. Он был тяжело болен, лежал не вставая, но все время просил и даже требовал, чтобы ему приносили все книжные новинки, полученные из Москвы.

Однажды ему принесли поэму Твардовского «Василий Теркин». Бунин начал ее читать, и вдруг близкие услышали из его комнаты заразительный смех. Близкие встревожились. В последнее время Бунин редко смеялся. Вошли в его комнату и увидели Бунина, сидящего на постели. Глаза его были полны слез. В руках он держал поэму Твардовского.

— Как великолепно! — сказал он. — Как хорошо! Лермонтов ввел в поэзию превосходный разговорный язык. А Твардовский смело ввел в стихи и язык солдатский, совершенно народный.

Бунин смеялся от радости. Так бывает, когда мы встречаемся с чем-нибудь подлинно прекрасным.

Тайной сообщать обыденному, житейскому языку черты поэзии владели многие наши поэты — Пушкин, Некрасов, Блок (в «Двенадцати»), но у Лермонтова этот язык сохраняет все мельчайшие разговорные интонации и в «Бородине» и в

«Завещании».

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как осветляют они нашу жизнь, какое непрерывное излучение — из века в век — исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ — нашу землю.

Каждая встреча с любым шедевром — прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость.

Не так давно в легкое, чуть морозное утро я встретился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От нее нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя.

Это была вестница победы. Она стояла на тяжелом носу греческого корабля — вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о великой победе. Это было ясно по каждой ликующей линии ее тела и развевающихся одежд.

За окнами Лувра в сизом, белесоватом тумане

серела парижская зима — странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов.

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решеток дует горячий ветер. Он чуть попахивает пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решетках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.

Это греются нищие. Величавые и зоркие лувр-ские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик-нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих.

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей черный цвет, порыжевшей от времени, лоснящейся тальме. Такие тальмы носила еще моя бабушка, несмотря на вежливые насмешки всех ее дочерей — моих тетушек. Даже в

те далекие времена тальмы вышли из моды.

Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потертой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце.

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решетки, чтобы ее тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжелый стул к калориферу и строго сказала старушке:

— Садитесь!

— Мерси, мадам, — пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась — так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен.

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места.

Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал:

— Мерси, мадам!

Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к ее руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, это было действительно так. Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч».

Я шел мимо нищих и думал, что перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые шедевры Лувра и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью.

Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущенные своей сияющей наготой и восхищенными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках.

Шедевры! Шедевры кисти и резца, мысли и

воображения! Шедевры поэзии! Среди них лермонтовское «Завещание» кажется скромным, но неоспоримым по своей простоте и законченности шедевром. «Завещание» — всего-навсего разговор умирающего солдата, раненного навылет в грудь, со своим земляком:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А дальше идут слова, удивительные по своей суровости, прекрасные по своей печали:

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых…
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,

Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Эта скупость слов умирающего вдали от родины солдата придает «Завещанию» трагическую силу. Слова «и чтоб меня не ждали» заключают в себе огромное горе, покорность перед смертью. За ними видишь отчаяние людей, невозвратно теряющих любимого человека. Любимые всегда кажутся нам бессмертными. Они не могут превратиться в ничто, в пустоту, в прах, в бледное, тускнеющее воспоминание.

По напряженной скорби, по мужеству, наконец, по блеску и силе языка эти стихи Лермонтова — чистейший неопровержимый шедевр. Когда Лермонтов писал их, он был, по теперешним нашим понятиям, юношей, почти мальчиком. Так же как Чехов, когда он писал свои шедевры — «Степь» и «Скучную историю».

Голос над рекою затих. Но я знал, я был уверен, что услышу его снова. И голос не обманул меня. Я даже вздрогнул — так ожиданно зазвучали первые слова:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко; печаль моя свет-

ла;

Печаль моя полна тобою…

Я бы мог слушать эти слова и сто и тысячу раз. В них так же, как и в «Завещании», были заключены все признаки шедевра. Прежде всего — неувядаемость слов о неувядающей печали. Слова эти заставляли тяжело биться сердце.

О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт, и сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю:

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь и сводишь на нет.

В каждом шедевре заключается то, что никогда не может примелькаться, — совершенство

человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на все, что окружает нас и вовне, и в нашем внутреннем мире. Жажда достигнуть все более высоких пределов, жажда совершенства движет жизнь. И рождает шедевры.

Я пишу все это осенней ночью. Осени за окном не видно, она залита тьмой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных черных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться с последней листвой, облетающей непрерывно и днем и ночью. И блеснет неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы.

И все это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла.

1963

Сказки

Теплый хлеб

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая удилами, — ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или черствого хлеба, или, случалось, даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее, общественный, и каждый считал своей

обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу Ну Тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасешься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил наконец в избу, припер дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист, — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши все лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь тряс-

ся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зеленая плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга,

буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек свое злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз и между землей и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замерз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твое дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать.

Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому

что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, — куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал.

— Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твое вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу! Провернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты, шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьем мы,

ребята, и такой лед!

— А ежели замерзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лед и скалывает».

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбива-

лись сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с темной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой, что вот, мол,

опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока или все это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах — ребята, кошки, даже мыши, — все это вертелось около хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба, с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько

скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат, — не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко запла-

кал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась все больше и больше и трещала как пулемет.

1945

Похождения жука-носорога

(Солдатская сказка)

Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Степа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но все равно продолжал стучать и браниться.

Степа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Степу за палец, — хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Степа пальца не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Степы Акулина кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Петр Терентьев усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по голове шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза.

— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал Степа.

— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Петр. — Уж как-нибудь сберегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и черным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Петр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.

Петр смущенно усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно.

Однажды ночью Петр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки.

Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали желтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, что-

бы получше осмотреться. Такой грозы он еще не видал. Молний было слишком много. Звезды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в петровской деревне, а взлетали с земли, освещали все вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мертвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться, — уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, теплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба как коршуны. Жук быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух — испугался, что коршуны его заклюют до смерти.

Утром Петр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушел, — ответил Петр с огорчением. —

Вот беда!

— Нашел об чем горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе, — возразил Петр, — а в памяти. Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память.

— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его — все равно что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Петр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Петр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаза, и бойцы еще больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Петр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев березы много было листьев вяза и тополя. И Петр, рассуждая с бой-

цами, говорил:

— Перешел мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.

Петр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьем и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Петр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что все равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из винтовки, но жук с налета ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал.

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Петр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зеленых мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура».

Месяц Петр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.

Из лазарета Петр снова ушел на фронт — рана у него была легкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжелых боев был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные черные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул теплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один тре-

петал и шумел, будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям.

Петр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Петр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из нее сделаем сад и заживем, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Петр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Степа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ, — ответил Петр. — Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Степа.

Петр вынул жука из сумки, положил на ладонь.

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием — узнал родные

места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Степа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот, — сказал Петр, когда Степа вернулся, — теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское свое поведение. Соберет всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.

Степа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит, — ответил Петр. — От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.

— Ну разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек.

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озерах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.

1945

Стальное колечко

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшкой в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно

рвется к станции из дальнего черного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду ее не подняло над землей и не утащило за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка, — ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля.

— Эх ты, — сказал боец, — цветок-лепесток в валенках! Больно серьезная!

— А ты так возьми сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в ее синие глаза.

— Эх ты, — повторил он, — анютины глазки

с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

— Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный. Гляди, как горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, раскрасневшись, Варюша.

— А оттого, — ответил боец, — что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, — боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, — будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь, — прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. — Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец. — Он старый сапер. Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша все трогала колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало — там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдешь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!.. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял все сильнее. К весне он

залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

— Дуреха! — шептала она. — Забаловалась, обронила перстенек. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

— С кем это ты там шумишь-то?

— С Сидором, — отвечала Варюша. — Такой стал неслух! Все норовит драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как

молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев — их наломало бурей еще в декабре, — потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, — и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть но заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

— Ну вот, — сказал дед, — ты, вертушка, вы-

скочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечем ржаные лепешки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук кузька-звонарь и

бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша. — Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошел? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что мимо нее прошла весна.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватить руками, — зазвенела, запела у нее на сердце.

Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи

тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенек на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенек на указательный палец.

«Успею, — подумала она. — Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

1946

Дремучий медведь

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети-большого — Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.

— Все тормошила тебя, веселила, — говорила бабка Анисья, — да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых

травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист — узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки, — дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив — и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобр зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды,

сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семен-чаевник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича — такой же остроносый и с шустрым черным глазом, — колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся — до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву, не теряет веселости.

«Может, голова у него и не болит, — думал Петя, — но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли — бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами — и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, — летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега — и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал

стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете — помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

— Вот и я! — говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щеки. — Здравствуйте!

— Дра! Дра! — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у нее вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живет за рекой, в большом лесу старый медведь и прозвище у того

медведя «Дремучий». Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в желтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, — зеленые, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная — со дна реки били ледяные ключи, — и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья — шуметь, рыбы — бить хвостами по воде, шмели — грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днем медведь сердился все сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло — одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей.

Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь — так и там одна только пыль.

— Беда-а-а! — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. — Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой — и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом — только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? — сомневался медведь. — Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и наконец решился — прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята — глупые они еще были — подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывет по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень.

Первой после телят заметила медведя ворона.

— Карраул! — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. — Звери, воррр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у

него затряслись, и уронил он свой рожок в траву, — посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.

Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя — ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

— Погоди, сейчас вылезу на бережок — все кости твои пересчитаю. Что выдумал — старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» — и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» — подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку

и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

— Это что ж такое? — зарычал медведь. — Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

А ива все хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанет медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

— Братцы! — заорал медведь, пуская пузыри. — Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю… до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

— Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь! — прохрипел окунь, не разжимая зубов. — Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый драчливый ерш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу.

«Фу, — думает, — дешево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят — рассчиты-

вают, когда он подплывет под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул:

— А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загрохотала — обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и — где там отряхиваться, некогда! — пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ерш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю,

да не доплюнул — где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его — все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

— Спасибо вам! — сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

— Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

1948

Растрепанный воробей

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить в девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове — должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над пло-

щадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букетик цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез этот букетик из какой-то далекой страны.

Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием «Камчатка», и вернется не скоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

— Вот, — прошептала мама, — ты и дождался.

— Чего дождался? — спросила Маша.

— Ты маленькая, ничего еще не понимаешь, — ответила мама. — Папа подарил мне этот букет и

сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

— А вот я и поняла, — сказала сердито Маша.

— Что ты поняла?

— Все! — ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что казалось, все спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. И еще было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она

сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала:

— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона

сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по имени «Пашка».

Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена — их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей, по прозвищу «Чичкин», — воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая.

«Раньше, — рассказывал Чичкин, — воробьи

собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?»

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочем не допустят…»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завел глаза: прикинулся мертвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула — выбранилась на все воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

— Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. — Невеселой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только

бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

— Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

— Берите! С варежкой. А то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий — Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне — и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копченую рыбью голову.

Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклевывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшую рогатую гусеницу — нашел ее на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расческу, карту — трефовую даму — и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдется стеклянный букетик — если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них — на деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи

коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьев, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларек, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

Прибежал милиционер. Он заглянул в ларек и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

— Вот это да! — сказал милиционер. — Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларек и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую желтым солнцем, и богатых уродок сестер, и злую мачеху, и свою маму — худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

Было очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижером. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими черными биноклями, — даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слезы, — вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослепленный сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижер поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протя-

нула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижер взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей впорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка — ее мама. А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

— Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

— Да, — ответила, помолчав, мама.

— А почему ты плачешь?

— Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

— Вот и неправда! — пробормотала Маша. — От радости смеются.

— От маленькой радости смеются, — ответила мама, — а от большой — плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо

было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

1948

Заботливый цветок

Есть такое растение — высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей.

Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

Как всегда в таких городках, на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошаденки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости.

Однажды я шел перед вечером мимо базарной площади в лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой. Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защелкал, откашлялся и сказал басом:

«Ребята! Напоминаем, что завтра в шесть часов утра состоится поход в Моховой лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов. Руководить походом будет сотрудница лесничества Анна

Петровна Заречная».

Я не мог понять, о каких беличьих запасах идет речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слыхали громового голоса из черной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка.

— Петя! — закричала она дребезжащим голосом. — Кузя! Ступайте домой, неслухи. Завтра спозаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подымать не буду. Я вам не будильник.

— Счас! — закричали в ответ мальчики. — Последний гол забьем!

Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвилась на дыбы и оборвала веревку. Мальчишки бросились врассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки.

— Озорники! — закричали хозяйки. — Вот скажем Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала.

Я пошел дальше. За углом я увидел мальчиков. Они, оказывается, прятались там от хозяек.

— Ребята, — спросил я мальчиков, — что это за «беличьи запасы», про которые объявляли по радио?

Мальчики наперебой начали рассказывать

мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки.

— Они их себе на зиму запасают! — кричали мальчики. — Складывают в дупла. Да ты не толкайся, дай мне сказать. Белка только здоровые шишки берет.

— Без нас эти шишки никто и не достанет! — закричал мальчик с отчаянными синими глазами. — Дупло высоко. А мы туда — раз-раз! Мигом долезем и все шишки выберем.

— А вам белок не жалко? — спросил я.

— Белки не обижаются! — закричали, волнуясь, мальчики. — Они за два-три часа опять полное дупло натаскают.

— Вы в лесничество идете? — спросил меня мальчик с синими глазами.

— Да, в лесничество.

— Мы давно приметили, что вы туда ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в нее мячом случайно попали.

Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне. Но даже если бы я ей и рассказал про случай с козой, то Анна Петровна (все в лесничестве ее звали Анютой) на мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, веселая и только год назад окончила лесной техникум.

Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около нее стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчется над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зеленая ряска. На чистых местах цвел водокрас — белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами разросся кипрей.

— Кипрей — это наш помощник, — заметил Михаил Михайлович.

— И белки тоже неплохие помощники, — добавила Анюта.

— О белках я узнал только что, — сказал я. — От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок

сосновые шишки?

— А как же! — ответила Анюта. — Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдемте с нами завтра в лес. Сами увидите.

— Ну что ж, — согласился я. — Пойдемте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

— Потому его и прозвали в народе иван-чаем, — объяснил Михаил Михайлович. — А помогает он нам вот чем…

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно еще кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешевый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Ученые, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли.

— Что же оказалось? — спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: — А оказалось, что кипрей — очень теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит теплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмерзнет вся верхушка, а он все равно не сдается, живет и дышит теплотой. Самоотверженный цветок!

— Кипрей, — сказала Анюта, — не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.

— Вы думаете, один кипрей такой замечательный? — спросил меня Михаил Михайлович. — Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят — всего не перечтешь. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если

бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

— Еще бы! — сказала Анюта. — Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила ее мне в сухом песке. От этого цветы не потеряли своей яркой пунцовой окраски.

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает интереснее самых волшебных сказок.

1953